



**Г. В. АДАМОВИЧ**

## **«Освобождение Толстого» (1955)**

Из книги «Одиночество и свобода»

Есть в «Войне и мире» необычайно характерная для Толстого фраза, которая затем, в чуть измененном виде, повторяется у него много раз: «Он понимал это не разумом, а всей жизнью».

Трудно найти слова, которые точнее определили бы смысл и характер книги Бунина о Толстом: понимание «не разумом, а жизнью». Оттого впечатление от этой книги двойится: с одной стороны, рассудок несколько озадачен зыбкостью предлагаемого истолкования, с другой — чутье обезоружено правдивостью постижения. Если применить к «Освобождению Толстого» знаменитый вопрос маршала Фоша, вопрос, даже и в литературе очень существенный, полезный, нередко решающий: «*De quoi s'agit-il?*» — «В чем дело? о чем речь?» — ответ получится не совсем отчетливый. Но почти все построение бунинской книги обращено к тому, чтобы показать невозможность единого и стройного построения такой личности, как Толстой, почти все в ней клонится к обоснованию слов Софии Андреевны, сказанных ею незадолго до смерти: «Сорок восемь лет прожила я со Львом Николаевичем, а так и не узнала, что он был за человек!»

Название книги как будто обещает план, схему-чертеж, в соответствии с которыми расположены будут биографические факты и авторские комментарии. Название наводит на мысль о жизнеописании в стиле тех, где все развертывается как бы по указанию невидимого режиссера и где в декоративно-размеренном порядке причины сцеплены со следствиями. Биография Толстого поддается такой обработке, она, пожалуй, могла бы ей поддаться лучше большинства других благодаря «перелому» в начале восьмидесятых годов, а в особенности благодаря концу, печальному и скромному по существу, но таящему в себе, независимо от желания Толстого, материал для более или менее эф-

фектной и трескучей декламации. Бунин, однако, далек от стремления пронизать свою книгу каким-либо «идейным стержнем» и, пожалуй, лишь в последних главах ее, там, где он спорит с Маклаковым<sup>1</sup> и Алдановым, сбивается на общие рассуждения, в противоречии с самим собой. Пока его не отвлекает полемика, он слушает, вдыхает, осязает Толстого всеми органами восприятия и чувствует, что нельзя решить и установить, чего Толстой хотел, над чем бился, куда шел, а можно только уловить в его внутреннем облике какой-то изначальный разлад, какую-то неговорчивую волю, терзавшую его и гнавшую к победе над самим собой: то, что в зародыше испытывал князь Андрей, слушая пение Наташи, то, что позднее, и с удесятеренной силой, испытывает герой, несомненно автобиографических, «Записок сумасшедшего».

Замечательно, что, несмотря на подчеркивание всего физического и телесного, на все эти фамильно-толстовские «зубы, челюсти, глаза», о которых Бунин, со слов Лопатиной<sup>2</sup> с увлечением рассказывает, Толстой получился у него неизмеримо духовней, душевней, даже нежней, чем у кого бы то ни было, как-то мягче, тише, беспомощнее. Ведя открытую полемику с Алдановым и Маклаковым, Бунин втайне спорит не только с ними, а и с Мережковским и Горьким<sup>3</sup>, и в особенности с теми бесчисленными любителями готовых формул, которые говорят об «апостоле любви и мира» или «о могучем брате и заступнике всех обездоленных». Спорит он даже с Лениным, но на этом долго не задерживается, с раздражением отшвыривая те высокомерные и поверхностные статьи, которые в казенной русской критике почитаются верхом гениальности (поверхностные, но — надо правду сказать — ядовито-метко написанные: достаточно вспомнить, например, издевательскую фразу о «рисовых котлетках»).

Мережковский назвал Толстого «тайновидцем плоти», приписав «тайновидение духа» Достоевскому. В этом сказалась не только присущая Мережковскому склонность к параллелям и к тому, чтобы от тезиса и антитезиса прямой дорогой направиться к синтезу, но и нечто более глубокое, более органическое. Всем известно, что Мережковский не любил Толстого (в сущности, даже не выносил, сколько бы ни говорил о своем восхищении и преклонении) и высоко чтит Достоевского, всем известно, что Бунин терпеть не мог Достоевского и боготворил Толстого\*.

\* Короткое воспоминание, мимоходом.

Было это года за два до смерти Бунина. Только что оправившись от воспаления легких, он уезжал с женой, Верой Николаевной, из Па-

Для Мережковского у Толстого было «мало духа». Не играя словами, можно было бы сказать, что он в общении с Толстым страдал от отсутствия того особого, постромантического, разреженного, ледящего эфира, которым, как и другие люди его склада, он только и мог дышать и который в таком изобилии разлит у Достоевского. Отталкивание Владимира Соловьева от Толстого, — доходившее у умнейшего человека, каким, несомненно, был Соловьев, до запальчивых и чудовищно глупых пророчеств насчет того, что юмористические стишки Ал. Толстого будут читаться еще тогда, когда о «Войне и мире» или «Анне Карениной» все забудут («Три разговора»), — отталкивание это было основано на том же. Весь погруженный в свои видения, вечно витавший в «нездешнем», Соловьев тоже, по-видимому, задышался от толстовских запахов, красок, звуков, от той связи с землей, которой проникнута каждая толстовская строка. Толстой как будто мешает Соловьеву или Мережковскому взлететь, унести из постылого для них земного мира, и им с ним становится скучно. С этим ничего поделать нельзя, и смешно было бы приписывать это различию литературных школ, стилей и направлений. Литературный стиль у писателя сколько-нибудь оригинального есть результат душевных особенностей, и не он влияет на них, а они на него. Бунин страстно возражает всему тому строю мыслей и чувств, который в новейшей нашей литературе особенно отчетливо отражен Мережковским. Бунин не допускает никаких бесконтрольных метафизических взлетов и ценит только то, верит только тому, что связано с землей, плотью и стихиями. Поэтому Толстой для него духовен максимально, т. е. настолько, насколько это вообще возможно: большего нельзя требовать, большего нельзя и добиться. Еще раз сошлюсь на князя Андрея, слушающего Наташу: «Страшная противоположность между чем-то бесконечно великим и неопределенным, бывшем в нем, и чем-то узким и телесным, чем был он сам и даже была она, эта противоположность томила и радовала его...»

---

рижа на юг Франции, где должен был провести зиму. Друзья его собрались на Лионском вокзале для проводов. Бунин был настолько слаб, что каждый невольно спрашивал себя: вернется ли он? да и доедет ли? Однако он подошел к окну вагона, хмуро и недовольно глядя на обычную суету на платформе. Неожиданно, в самую последнюю минуту, он сделал мне знак: подойдите, мол, поближе.. Я подошел. Задыхаясь, с трудом, Бунин проговорил: «Читал... я вчера.. Достоевского: ах, как плохо! Боже мой, до чего плохо!»

Поезд тронулся. Бунин слегка высунулся из окна и, усмехнувшись, отрицательно помахал пальцем, что означало: ничего ваш Достоевский не стоит!

Толстой чувствовал, сознавал противоположность и считался с нею. Для Достоевского не было противоположности, а были два отдельных мира, каждый из которых живет по своим законам. Оттого он Бунину и был малоинтересен, что на бунинское ощущение жизни как целого, без разрыва духа с материей, все его домыслы и догадки, все созданные им образы были плодами пустой, больной, будто сорвавшейся с цепи фантазии.

Спор с Горьким, а в особенности с краснобаями, ораторствующими насчет «апостола любви», совсем иного рода, хотя и вытекает все из того же, кровного, подхода к Толстому, который для Бунина характерен. Горьковские воспоминания о Толстом высоко оценены у нас даже теми, кто вовсе не склонен признавать Горького великим художником. Действительно, они яркие, картинны, искусны, если и грешат чересчур явным стремлением избавить Толстого от всякой «иконописности». Бунин отзывается о них как о «сочинении безмерно лживом, чуть ли не на каждом шагу». Показательно, между прочим, что Горький считал Толстого человеком ограниченного ума, при огромном, конечно, таланте, Бунин же и толстовский ум определяет как «совершенно необыкновенный». Каждый, очевидно, вкладывает в понятие «ум» свое, условное, содержание. Толстовский ум был действительно ограничен в том смысле, что был, как говорится, до отказа переполнен своей пищей, что не вмещал он мыслей чужих, что для многого был поэтому наглухо закрыт, — примером того останется на веки вечные «Что такое искусство?», трактат столь же гениальный (морально гениальный), сколь и неприемлемый в характеристиках и оценках. Если бы не пламенная, неотразимая искренность тона, книга была бы истинным памятником глухоты и близорукости! Помимо того, толстовский ум был сравнительно слаб в тех отвлеченных, чисто логических построениях, которые не имеют непосредственного отношения к реальному, конкретному существованию каждого из нас. Надо бы сговориться насчет того, что такое «ум», прежде чем спорить о нем: если Кант, например, был умен, то в этом смысле Толстой умен не был. Здесь, в этой области, не только всякий подлинный философ, но и тот же Достоевский, например, неизмеримо гибче, богаче, ловчее и притом расточительнее его... Но, конечно, людей, их взаимные отношения, их еле-еле прорывающиеся, самые случайные побуждения, весь их безотчетный внутренний мир, все то вообще, что можно подвести под понятие «жизнь», Толстой понимал, как, кажется, никто никогда, ни до, ни после него, и тут ум его почти беспримерен (едва ли не самый пронзительный, самый тонкий из новейших французских критиков,

покойный Шарль дю Бос<sup>4</sup>, утверждал, что людей действительно знали и умели изображать во всей мировой литературе только два писателя: Шекспир и Толстой). Конечно, «Анна Каренина» — беспримерно умная книга, при всех других ее свойствах, и тут, в применении к ней, слова Горького об «ограниченности» нелепы и возмутительны. Но произошло недоразумение: одно и то же слово оказалось по-разному истолковано! Бунин с необычайной остротой чувствовал всякую фальшь в рассказах о Толстом, и размашистый, несколько развязный горьковский набросок оказался для него так же неприемлем, так же мучителен, как и попытки создать из Толстого благостного старца, изрекавшего душеспасительные истины или, здесь я позволю себе процитировать одного из наших современных авторов, — «давшего своим великолепным уходом незабываемый урок всей культурной обществу». Бунина отвращает всякая риторика, и в этом отношении он настолько щепетилен, что достаточно иногда одного сомнительного слова, чтобы подорвать его доверие. Как созданные Толстым образы людей настолько правдивы, что порой теряют отчетливость в очертаниях, так и сам Толстой у Бунина вышел, может быть, не совсем ясен, но сложнее и правдоподобнее, чем у других\*.

Не совсем ясно у Бунина, в чем именно «освобождение». Буддийские толкования сплетаются в книге с пантеистическими, а иногда и с христианскими, тщетно стремясь к цельности и к ло-

\* Удивительно, что второстепенные толстовские персонажи всегда законченнее и ярче, нежели его главные герои! Какое чудо портретной живописи старик Болконский, и насколько расплывчатее князь Андрей! Насколько Вронский туманнее, нежели Стива Облонский! Как неясен Нехлюдов! По-видимому, чем пристальнее был взгляд Толстого, тем больше ему открывалось — до невозможности, в конце концов, все связать воедино и восстановить личность из миллиона противоречивых данных. На эту невозможность есть в «Воскресении» прямое указание (сравнение человека с рекой).

По поводу параллели между Толстым и Шекспиром: не будет ли правильно сказать, что впервые в мировой литературе образ человека, воспринятого не как «тип» с резко обозначенными, неизменными чертами характера, а как некое колеблющееся, мерцающее, туманное пятно появился с «Гамлетом»? Толстой изумлялся: у Гамлета нет никакого характера, а критики до сих пор ломают себе голову, чтобы характер его разгадать! Но ведь и у князя Андрея нет характера в том смысле, в каком есть характер у Обломова или у Хлестакова; у Наташи Ростовской нет характера по сравнению с любой тургеневской героиней или Соней Мармеладовой. Толстой был у нас единственным учеником и последователем Шекспира и лишь по какому-то непостижимому недоразумению на него обрушился.

гической, поступательной последовательности. Мысль не вполне удовлетворена, но чувство вознаграждено той «земной проверкой», которая везде дает себя знать, вместе со страстной, «истинно сыновней» — как говорит сам Бунин — преданностью Толстому. Построение Мережковского — соглашаемся мы с ним или нет — было определеннее и тверже. Горьковские воспоминания, пожалуй, ярче, во всяком случае эффектнее. Но Мережковский и Горький, каждый по-своему, ломают Толстого, приспособляют его к своему о нем представлению. У Бунина он проще, доступнее, «горестнее» и в этой простоте своей еще величавее<sup>5</sup>.

